

Моск. новости. - 1989. - 4 июня (№23) - с.5

ЧТОБЫ ТЕАТР НОСИЛ ЕГО ИМЯ...

Умер Товстоногов. В одной из вещей Пановой на вопрос о прошедших годах один из героев отвечает: «Сколько лет, сколько лет, а ведь лет-то было мало, все больше зимы, все больше зимы».

Сейчас с ужасом убеждаешься, что даже в жизни моего поколения зим оказалось куда больше, чем лет. Что же говорить о поколении Георгия Александровича? Да и чисто временно Большой драматический театр связан для меня с зимами и осенью. Наверное, потому, что летом театр отдыхает или на гастролях. Полутемный Ленинград, замерзшая или вздувшаяся черная Фонтанка, унылые желтые фонари деревянного моста и толпа съежившихся людей, ждущих билетов. Таков для меня образ искусства, потому что, лучше были спектакли или хуже, искусство много лет было связа-

но для меня с БДТ. Я думаю, что подлинная революция театра эпохи первой оттепели началась с товстоноговских спектаклей по Володину. Когда на сцену в лепнине, обойдась вдруг без занавеса, тихо выехала коммунальная квартира, забубнило радио и люди заговорили не о выдуманном. Тогда это невыдуманное быстро назвали мелкотемьем — в противовес чему-то другому, вроде бы крупному, а для меня почти всегда пошлому. В этом спектакле, назывался он «Пять вечеров», как комментарий звучал голос самого Товстоногова. «Зима, — неторопливо говорил этот голос, — по вечерам идет снег, он пахнет морозом и тревожит сердце воспоминаниями».

Сколько лет прошло, а я помню этот голос и буду помнить, пока жив: такова сила этого искусства. За свою долгую уже

теперь жизнь чудес, связанных с искусством, я видел не так уж много. Среди них удивительное рождение новых актерских качеств, которых я и не предполагал и которые вдруг возникали на моих глазах под мощными ударами режиссера Товстоногова. Вдруг что-то трескалось, лопались какие-то оболочки, и из знакомого облика Стрельчика, Басилашвили, Смоктуновского или Лаврова проявлялся совсем иной человек. Потом этот иной человек мог удивить нас в фильмах или телефильмах, но я-то видел, я — свидетель, я знаю, где и кем он был рожден.

Для нашего российского интеллигента приезд в Ленинград почти всегда связан с вечерней Невой, Эрмитажем, снежным или дождливым Невским и товстоноговским театром. Когда общественная жизнь совсем уже

затухала, когда уныние охватило интеллигенцию и, казалось, все затихло в огромной, стоящей в бесчисленных очередях стране, живая кровь перемещалась по сосудам и капиллярам народа, нации, страны — кому как больше нравится — усилиями сердец совсем немногих художников. Сосуды были сужены, сжаты до предела. С каким же напряжением должны были работать сердца, чтобы гнать по этим сосудам кровь! Русские писатели, критические, а не социалистические реалисты, говорили: «Мы не врачи, мы — боль». А, может, это один сказал, а другие повторили, неважно. Режиссура Товстоногова — это тоже боль, только переданная не на листы бумаги, а актерам на сцене. Посмотрите в кинохронике за ним на репетиции: произносятся про себя за актерами все слова, играя за всех, что же он должен был почувствовать в финале «Идиота», «Варваров» или «Трех сестер»? И что же удивляться, когда сердце не выдерживает и останавливается весенним

днем вроде бы ни с того ни с сего?

В унылые и печальные годы нашей истории он и его спектакли были светом в окошке, лучше не скажешь. Когда же все стало меняться, он оказался больным и смертельно усталым. Мы ничего не можем сделать для него, кроме одного: добиться, чтобы театр носил его имя. Сколько театров, домов культуры, дворцов, улиц имени Горького по стране, да и в Ленинграде достаточно. Тридцать три года люди говорили: вечером я иду в театр Товстоногова. Что там, у Товстоногова? Когда человек говорил: «Я сегодня у Товстоногова», это вовсе не означало, что он с ним знаком. Нам остается только подтвердить то, что сделала за нас жизнь. Я ехал на похороны с художественного совета и нечаянно сказал, извиняясь, что ухожу: «Простите, товарищи, я поехал к Товстоногову». Я не хочу, чтобы я это сказал в последний раз.

Алексей ГЕРМАН